

О поэзии Андрея Вознесенского

«... ЧУВСТВО ЯВЛЯЛОСЬ ПЕРВОПРИЧИНОЙ»

УЖЕ ГРОМКО звучали голоса молодых поэтов середины 50-х годов. Уже набрал силу звонкоголосый Евгений Евтушенко — такой непривычно и подкупающе непричесанный, ершистый, искренний и неудержимо откровенный до самообличений... Погромывали уже металлом угловатые, рубленные строки Роберта Рождественского, ярко обличающие трусов, мещан, собственников. Терпко и гулко отдавались в ушах, словно на медовухе настоянные, опочкинские гимны жизни Владимира Цыбина. Нелегко входила в общий лирический поток женственно хрупкая муза Беллы Ахмадулиной.

И вдруг — словно вихрем вздыбило волосы — стихи какого-то Андрея Вознесенского...

От плотской забавы
Гудела спина,
От плотничной бабы,
Пилы, колуна.

Аж в дуги сгибались
Дубы топорниц!
Аж щепки вонзались
В Стамбул и Париж!

После этого, как бы «раздвоенного» первого сборника стихов, вышедшего почти одновременно во Владимире («Мозаика») и в Москве («Парабола») в 1960 году, Вознесенский перестал быть для меня, как, очевидно, и для многих читателей, «каким-то»: ясно стало, что в мир пришел новый поэт своеобразной творческой мощи — его дышали образы и сочные краски его стихов и поэм. С их страниц так и било в лицо озонным свежим ветром, хлестало стихийной силой! Хотя еще в чем-то и неуверенной, и не всегда собранно точной.

Потом появилась новая книжка с длинным, боевито-ироничным названием «40 лирических отступлений из поэмы «Треугольная груша». И если в том, раздвоенно-первом, сборнике можно было иные стихи, скажем, найти близкими по ин-

тонации то Евтушенко, то Цыбина, в этой книге все было только свое, «вознесенское», ни на какое другое не похожее. Это была горячая исповедь человека середины XX столетия. Исповедь то горькая, то ликующая, то громогласная, бьющая наотмашь, то тихая и нежная до шепота. Это была социально острая книга о времени и о человеке, о тяжелых нравственных испытаниях, выпавших на долю нашего ускоряющего темпы жизни века.

Как это страшно,
когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах
необыкновенных столиц!
Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
звездные судьбы
грузчиков, шлюз.
В баре, как ангелы,
гаснут твои алкоголики.
Ты им глаголишь!
Ты их, прибитых,
возвышаешь.
Ты им «Прибыть»
возвещаешь!

Молодой поэт многое увидел и почувствовал и в Америке, и у себя на родине по-новому, неожиданно, порой парадоксально и тем не менее по-своему точно.

С остротой первооткрытия несла эта книжка чувства и мысли и богатейший спектр переживаний человека из поколения мальчишек, выросших под грохот второй мировой войны, под кровь, боль и муки Великой Отечественной: человека, вступившего, как ныне принято говорить, в эпоху научно-технической революции.

Скитаясь среди «пожара этажей, устремленных к окрестностям рая», «по безбожной, бейсбольной, по бензоопасной Америке», снова и снова пытается он отыскать самое важное в этом шумном потоке жизни:

Мне на шею с витрин
твои вещи дешевками
вешались.
Но я душу искал,
я турил их, забывши
про вежливость.

И в следующем сборнике — «Антимиры» душа эта откликнулась. В «Монолог Мерлин Монро», в словах, полных боли и безысходной тоски, мы узнаем о загубленной в душевной, лживой атмосфере конформизма жизни прекрасной женщины...

Только на родине чувствует поэт внутреннюю душевную наполненность, то особое состояние родственной близости всему окружающему, когда и стога под ночной луной, и «бабка в валенках стоптанных» волнуют и прорывают сердце:

Как стада лосины,
Спят
стога.
Полыхает Россия,
Голуба и строга.

И чего-то не выразишь,
Ты стоишь, человек,
Посреди телевизоров,
Небосклонов, телег.

...Как бы нас ни корили,
Ты, Россия, одна,
Как подводные крылья,
Направляешь меня.

Рядом с урбанистическими мотивами, с головокружительными, типично «вознесенскими» перепадами ритмов и слепящими неожиданностью, парадоксальностью ассоциациями и образными решениями, рядом со стремительными движениями сюжета, мельканием лиц и предметов, нередко окрашенных в гротескные тона или несущих на себе отблеск легкой иронической усмешки автора («Бомбой ахают бутылки из окон, из окон, ну, а этот забудыга ванну выпер на балкон. А над площадью Испании, как летающий тарел, вылетает муж из спальни — устарел, устарел!»), все чаще возникают мотивы созерцательно-раздумчивые, тянет поэта в рощи, на поляны, в лес («Отшельничая, берлогу, отлеживаюсь в березах, лужаечный, можжевельничий, отшельничая...»).

Выходили все новые сборники. И в каждом — поэт приоткрывался какими-то новыми гранями таланта. Неистово-поисковая натура его не может удовлетворяться уже достигнутым, ранее открытым.

Вслед за выдохнутым полупшепотом: «Тишины хочу, тишины... Нервы, что ли, обожжены? Тишины...» — звучало сурово-сдержанное: «Пел Твардовский в ночной Флоренции, как поют за рекой в орешнике, без искурственности малейшей на Сполдине...».

Стихи, характерные для Вознесенского: высокий смысл подкреплен, как бы пронизан в них удивительной музыкой звуковых переключек в словах, отчего строки обретают особую гармонию слияния звука и смысла. И расходятся от слов этих, как эхо или круги по воде, звукомысловые обертоны.

Все чаще появляются в строчках поэта такие признания:

Увижу ли, как лес свивозит,
или осому с озерцами,
не созерцанье — сосердцанье
меня и природе пригвоздит.

То же «сосердцанье» заставляет понимать, что «не на семи рубинах циферблат Истории — на живых, любимых, ломкие которые». Словом, все сильнее в нем осознание того, что «чувство являлось первопричиной» всего самого дорогого в жизни и в творчестве.

Так и чередуются во многих стихах Вознесенского природа и человек, шумный прибой столичных улиц и тихие холмистые просторы русских полей. Поклонение красоте у него одухотворенно-бескорыстно — в природе ли, в Малом ли зале Консерватории («...не для суетных смотрин з малый сруб Консерватории приходится любить один»), в любимой ли женщине («Всюду небесным громоотводом бродишь со мной, отпуская грехи, — так в непогоду луч удлиненный, зябкий, ошибшийся, удивленный, ступит на землю, прорвавши верхи») — оно идет рука об руку с высоким нравственным чувством и приводит к ясному пониманию долга поэта: «Обязанность стиха быть органом стыда».

Даже если —
как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом
назначении
девяносто процентов добра.

Самобытный, ни на кого не похожий создатель самых невероятных ассоциативных сближений и отталкиваний, самых фантастических мифов в нашей лирике за последние четверть века (вспомните его «Нью-Йоркскую птицу», «Антимиры», «Параболическую балладу», «Лобную балладу», «Марше О Пюс», «Кабанью охоту», «Озу», «Авось!», «Даму трэф» хотя

бы...), Вознесенский, увлеченный жадой нравственного очищения, порой не замечает, что стих становится суховат, рациональное начинает подавлять эмоции. Впрочем, сегодня стих его вообще стал ровнее, ближе к традиционному. Все реже происходят озорные прорывы, вспышки буйной фантазии.

Художник идет вперед, не топчась на месте, углубляясь в иные миры... Аукаются в его судьбе пути больших поэтов (хотя бы одного из его учителей — Б. Пастернака); от первоначального полета к яркому самовыражению, в самобытность, к последующему замедленно-углубленному поиску смысла жизни, бытия, нравственных ценностей.

Главное же, самое дорогое в творчестве поэта — гуманность, человечность. Так прекрасно выраженные в крылатой и емкой образной формуле:

Все прогрессы —
реакционные,
если рухнет человек.

И в этом Вознесенский, искатель, новатор, остается традиционнейшим, ибо следует главному завету русской классической литературы, с такой ясностью и достоинством высказанному Пушкиным: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал...». Не этой ли тягой к добру и вызван горький вздох нашего современника: «Века Пушкина и Пуччини мой не старше и не новей. Согласитесь, при Кампучии — мучительней соловей». Тем же глубоким чувством наполнен и призыв поэта:

Если жизнь облыжная
вас не дарит дланями —
помогите ближнему,
помогите дальнему!

...Не ищите в Библии
утешенья книжного.
Отомстите гибели —
помогите ближнему.

Этому совету следует и сам художник, когда умеет пережить, почувствовать, «как хороши у людей невезучих тихие песни!».

Течет, меняется на наших глазах жизнь. Меняемся мы сами. Меняются песни. И творцы их. Но нет... слышу все то же, молодое, неизменное, озорное в голосе поэта: «Торопитесь опоздать, пока живы — опоздайте. Торопитесь дать под зад неотложным вашим датам...». Что ж, накануне его собственной круглой даты — 50-летия это пожелание звучит вполне уместно. Андрей Вознесенский из тех, кто не умеет стареть, он всегда в пути, в поиске нового слова, красоты и добра.

Владислав ЗАЛЕЩУК